

Иван Иванович Лажечников

Знакомство мое с Пушкиным

В очерке «Знакомство мое с Пушкиным» (1856) Лажечников рассказывает неизвестный до того эпизод из жизни молодого Пушкина: будучи адъютантом графа Остермана-Толстого, он предотвратил дуэль поэта с неким майором Денисевичем, вызванную ссорой в театре.

И.И.Лажечников. «Басурман. Колдун на Сухаревой башне. Очерки-воспоминания», Издательство «Советская Россия», Москва, 1989

Примечания — Н.Г.Ильинская

Впервые опубликовано в «Русском вестнике» (1856, № 2). Вошло в собрание сочинений И.И.Лажечникова, 1858, т. VII.

Иван Иванович Лажечников
Знакомство мое с Пушкиным
(Из моих памятных записок)

Puis, moi, j'ai servi le grand homme!
Le vieux Coporal⁽¹⁾

В августе 1819 года приехал я в Петербург и остановился в доме графа Остермана-Толстого, при котором находился адъютантом. Дом этот на Английской набережной, недалеко от Сената. В то время был он замечателен своими цельными зеркальными стеклами, которые еще считались тогда большою редкостью, и своею белою залой. В ней стояли, на одном конце, бюст императора Александра Павловича и по обеим сторонам его, мастерски изваянные из мрамора, два гренадера лейб-гвардии Павловского полка. На другом конце залы возвышалась на пьедестале фарфоровая ваза, драгоценная сколько по живописи и сюжету, на ней изображенному, столько и по высокому значению ее. Она была подарена графу его величеством, взамен знаменитого сосуда, который благодарная Богемия поднесла, за спасение ее, герою кульмской битвы, и который граф с таким смирением и благочестием передал в церковь Преображенского полка. В этом доме была тоже библиоте-

ка, о которой стоит упомянуть. В ней находились все творения о военном деле, какие могли только собрать до настоящего времени. Она составлялась по указаниям генерала Жomini[1]. Украшением дома было также высокое создание Торвальдсена[2], изображавшее графиню Е.А.Остерман-Толстую в полулежащем положении: мрамор в одежде ее, казалось, сквозил, а в формах дышал жизнью.

Мы (я и прапорщик Сибирского гренадерского полка Д., ныне генерал-лейтенант и командир дивизии) ехали по Петербургу не главными улицами его. К тому ж в четверо-местной нашей карете стояла против нас клетка с орлом, ради чего мы сочли за благо спустить шторы с окон. Въехали мы в дом со стороны Галерной, на которую выходил задний фасад его. И потому я не мог сделать заключение о городе, в котором никогда не бывал.

Только что я успел выйти из экипажа, граф прислал за мной. Он стоял на балконе, выходящем на Неву. Помню, вечер был дивный. Солнце ушло уже одною половиною своею за край земли, другою золотило и румянило рой

носившихся около него пушистых облачков. «Ты не бывал еще в Петербурге — посмотри...» сказал мне граф с какою-то радостью, указывая единственной рукою своею на Неву. Казалось, он мановением этой руки раскрыл для меня новый, прекрасный мир.

Петербург тогда был далеко не тем, что он теперь, но и тогда вид на голубоводную, широкую Неву, с ее кораблями, набережными, академией, биржей и адмиралтейством, привел меня в восторг. Я бывал в Берлине, Лейпциге, Касселе, Кенигсберге и Париже, но ни один из этих городов не сделал на меня такого впечатления. Правда, когда я в первый раз увидел Париж, я ощутил невыразимо высокое чувство; но надо прибавить, что это было в вечер 18 марта 1814 года, что я увидел город с высот Монмартра, при утихавшем громе наших орудий, при радостных криках: ура! В эти минуты я вспомнил пожар Москвы, вспомнил, как я месил снежные сугробы литовские, спотыкаясь о замерзшие трупы, при жестоких морозах, захватывавших дыхание, в походной шинели, сквозь которую ветер дул, как сквозь сетку решета. Еще живо пред-

ставлялась мне великая и ужасная картина Березины, взломанной бегущей армией. Как будто дух Божий хотел показать на этом месте всю силу своего гнева — взорвал реку с основания ее и, со всем, что застал живого, оледенил ее вдруг своим дуновением. Среди обломков колес и осей, изорванной и окровавленной одежды, трупов лошадей, руки, поднятые изо льдины и как будто еще молящие о спасении или угрожающие, лики мертвецов, с оледеневшими волосами, искривленные, с бешенством проклятия или с улыбкою новой жизни на устах^[2], а кругом снежная, с тощим кустарником, степь, подернутая вечерним полусумраком. Ни одного звука на этом ледяном кладбище, кроме стука от подков моей лошади, пугливо ступающей между мертвецами; ни одной живой души, кроме меня, с (бывшим) дядькой моим, который весь трясется и жутко озирается. Все это живо представлялось мне на монмартрских высотах. Теперь я только что вышел из огня сражения, из-под свиста пуль, цел, невредим — и передо мною, у ног моих, расстилалась столица Франции... О ней мог я только мечтать во сне,

и вот, завтра же, вступаю в нее с победоносной армией... О! это чувство было высокое, восторженное, но его произвело не зрелище красот Парижа, а стечение обстоятельств, приведших меня к нему — обстановка этого зрелища. Чувство это было совсем не то, которое наполнило душу мою при взгляде на родной город, созданный гением великого Петра, возвеличенный и украшенный его преемниками. — Прекрасно! — чудно! — мог я только сказать графу.

Посвятив недели две на осмотр всего, что было замечательного в Петербурге, я предался глубокому уединению, какое только позволяла мне служба. В это время готовил я к печати свои «Походные Записки», в которых столько юношеской восторженности и столько риторики. Признаюсь, писавши их, я еще боялся отступить от кодексов Рижского и брата его, столь твердо врученных мне профессором московского университета По[бедоносцевым][3]. Счастлив, кто забыл свою риторику! — сказал кто-то весьма справедливо. Увы! я еще не забыл ее тогда... В это же время граф поручил мне привести свою военную библио-

теку в порядок и составить ей каталог.

Говоря о библиотеке, невольно вспоминаю посещение ее одним из замечательных людей своего времени, который отличался сколько умом, столько и странностями. Это был генерал от инфантерии, князь В., командовавший некогда войсками, в Оренбургском крае расположенными; он пародировал во многом Суворова; я знавал его уж в преклонных годах. Он ходил и ездил по Петербургу с непокрытою головою в самые жестокие морозы, иногда с морковью в руке. Граф Остерман-Толстой видал его изредка у себя. Помню, что в одно из этих посещений, вставши из-за стола, хозяин дома позвал князя и бывшего тут же графа М.А.Милорадовича (тогдашнего генерал-губернатора петербургского) в свою библиотеку. Здесь старик-младенец, казалось, переродился, как будто взгляд на военные книги произвел в нем гальваническое потрясение. Он сам сделался живым военным словарем. Многих и многих известных писателей, от Ксенофонта до наших дней, перебрал он критически, с цитатами из них, называя подробно и точно лучшие их издания. Все тут

присутствовавшие были удивлены его бойкими суждениями и необыкновенною памятью. Если б я закрыл в то время глаза, то не поверил бы, что слушаю того старика-младенца, которого встречал нередко на улицах, в жестокие морозы, с непокрытою головою.

Оставивши князя В. в нижнем этаже, хозяин повел графа Милорадовича в верхний, чтобы показать ему делаемые там великолепные перестройки. «Боже мой! как это хорошо! — сказал граф Милорадович, осматривая вновь отделанные комнаты. — А знаете ли? — прибавил он смеясь: — Я отделяваю тоже и убираю, как можно лучше, комнаты в доме — только в казенном, где содержатся за долги. Тут много эгоизма с моей стороны: неравно придется мне самому сидеть в этом доме». — Действительно, этот рыцарь без страха и упрека, отличавшийся, подобно многим генералам того времени, своею оригинальностью, щедро даривший своим солдатам колонны неприятельские и так же щедро рассыпавший деньги (прибавить надо, много на добро), всегда был в неоплатных долгах, несмотря на щедроты, которые часто излива-

лись на него государем.

Как я сказал выше, жизнь моя в Петербурге проходила в глубоком уединении. В театр ездил я редко. Хотя имел годовой билет моего генерала, отданный в полное мое владение, я передавал его иногда Н.И.[Гречу][4]. «Кого это пускаешь ты в мои кресла?» — спросил меня однажды граф Остерман-Толстой с видимым неудовольствием. Я объяснил ему, что уступаю их известному литератору и журналисту. «А! если так, — сказал граф, — можешь и вперед отдавать ему мои кресла». Говорю об этом случае для того только, чтобы показать, как вельможи тогдашние уважали литераторов.

Со многими из писателей того времени, более или менее известных, знаком я был до приезда моего в Петербург, с иными сблизился в интересные эпохи десятых годов. С.Н.Глинку узнал я в 1812 году, на Поклонной горе: восторженным юношей слушал я, как он одушевлял народ московский к защите первопрестольного города. С братом его, Федором Николаевичем, познакомился я в колонии гернгутеров, в Силезии, во время перемирия 1813 года и скрепил приязнь с ним около

костров наших биваков в Германии и Франции. Никогда не забуду уморительных, исполненных сарказма и острот, рассказов и пародий поэта-партизана Д.В.Давыдова. Хлестнет иногда в кого арканом своей насмешки, и тот летит кувыркком с коня своего. Этому также не надо было для бритья употреблять бритву, как говорили про другого известного остряка, — стоило ему только поводить языком своим. Часто слышал я его в городке Нимтше, в Силезии, в садике одного из тамошних бюргеров, где собирался у дяди Дениса Васильевича и корпусного нашего командира, Н.Н.Раевского, близкий к нему кружок. С азиатским обликом, с маленькими глазами, бросающими искры, с черною, как смоль, бородой, изпод которой виден победоносец Георгий, с брюшком, легко затянутым ремнем, — будто и теперь его в очи вижу и внимаю его остроумной беседе. Хохочут генералы и прапорщички. Раевский, в глубоком раздумье, может быть, занесенный своими мыслями на какое-нибудь поле сражения, чертит хлыстиком какие-то фигуры по песку; но и тот, прислушиваясь к рассказу, воспрянул: он смеет-

ся, увлеченный общим смехом, и, как добрый отец, радостным взором обводит военную семью свою^{3}. Батюшкову пожал я в первый и последний раз братски руку в бедной избушке под Бриенном. В эту самую минуту грянула вестовая пушка. Известно военным того времени, что генерал Раевский, при котором он тогда находился адъютантом, не любил опаздывать на такие вызовы. Поскакал генерал, и вслед за ним его адъютант, послав мне с коня своего прощальный поцелуй. И подлинно это был прощальный привет, и навсегда... С тех пор я уж не видал его. С А.Ф.Воейковым[5] познакомился я в зиму 1814/15 года, в Дерпте, где квартировал штаб нашего полка. Можно сказать, что он с кафедры своей читал в пустыне: на лекции его приходило два, три студента, да иногда человека два наших офицеров или наши генералы Полуектов и Кнорринг. У него узнал я Жуковского, гостившего тогда в его семействе. Оба посещали меня иногда. Горжусь постоянно добрым расположением ко мне Василия Андреевича. С князем П.А.Вяземским имел я случай нередко видеться замечательною весною 1818 года, в

Варшаве. Здесь, за дворцовой трапезой, на которую приходила вся свита государя императора, между прочими граф Каподистрия[6] и другие знаменитости того времени, сидел я почти каждый день рядом с А.И.Данилевским-Михайловским[7], вступившим уже тогда на поприще военного писателя. Здесь же учился я многому из литературных бесед остроумного Жихарева[8], которого интересные мемуары помещаются ныне в «Отечественных записках». Но я еще нигде не успел видеть молодого Пушкина, издавшего уже в зиму 1819/20 года «Руслана и Людмилу»[9], Пушкина, которого мелкие стихотворения, наскоро на лоскутках бумаги, карандашом переписанные, разлетались в несколько часов огненными струями во все концы Петербурга и в несколько дней Петербургом вытверживались наизусть, — Пушкина, которого слава росла не по дням, а по часам. Между тем я был один из восторженных его поклонников. Следующий необыкновенный случай доставил мне его знакомство. Рассказ об этом случае прибавит несколько замечательных строчек к его биографии. Должен я также засвиде-

тельство, что все лица, бывшие в нем главными деятелями (кроме историка, вашего покорного слуги), уже давно померли, и потому могу говорить о них свободно.

Квартира моя в доме графа Остермана-Толстого выходила на Галерную. Я занимал в нижнем этаже две комнаты, но первую от входа уступил приехавшему за несколько дней до того времени, которое описываю, майору Денисевичу[10], служившему в штабе одной из дивизий ...ого корпуса, которым командовал граф. [Денисевич] был малоросс, учился, как говорят, на медные деньги и образован по весу и цене металла. Наружность его соответствовала внутренним качествам: он был очень плешив и до крайности румян; последним достоинством он очень занимался и через него считал себя неотразимым победителем женских сердец. Игрою густых своих эполетов особенно щеголял, полагая, что от блеска их, как от лучей солнечных, разливается свет на все, его окружающее, и едва ли не на весь город. Мы прозвали его дятлом, на которого он и наружно и привычками был похож, потому что без всякой надобности

долбил своим подчиненным десять раз одно и то же. Круг своей литературы ограничил он «Бедною Лизой» и «Островом Борнгольмом» [11], из которого особенно любил читать вслух: «Законы осуждают предмет моей любви», да несколькими песнями из «Русалки». К театру был пристрастен, и более всего любил воздушные пируэты в балетах; но не имел много случаев быть в столичных театрах, потому что жизнь свою провел большею частью в провинциях. Любил он также покушать. Рассказывают, что во время отдыха на походах не иначе можно было разбудить его, как вложивши ему ложку в рот. Вы могли толкать, тормошить его, сколько сил есть — ничто не действовало, кроме ложки. Впрочем, был добрый малый. Мое товарищество с ним ограничивалось служебными обязанностями и невольным сближением по квартире.

В одно прекрасное (помнится, зимнее) утро — было ровно три четверти восьмого, — только что успев окончить свой военный туалет, я вошел в соседнюю комнату, где обитал мой майор, чтоб приказать подавать чай. [Денисевича] не было в это время дома; он ухо-

дил смотреть, все ли исправно на графской конюшне. Только что я ступил в комнату, из передней вошли в нее три незнакомые лица. Один был очень молодой человек, худенький, небольшого роста, курчавый, с арабским профилем, во фраке. За ним выступали два молодца-красавца, кавалерийские гвардейские офицеры, погромыхивая своими шпорами и саблями. Один был адъютант; помнится, я видел его прежде в обществе любителей просвещения и благотворения; другой — фронтовой офицер. Статский подошел ко мне и сказал мне тихим, вкрадчивым голосом: «Позвольте вас спросить, здесь живет Денисевич?» — «Здесь, — отвечал я, — но он вышел куда-то, и я велю сейчас позвать его». Я только хотел это исполнить, как вошел сам Денисевич. При взгляде на воинственных ассистентов статского посетителя он, видимо, смутился, но вскоре оправился и принял также марциальную осанку[12]. «Что вам угодно?» — сказал он статскому довольно сухо. «Вы это должны хорошо знать, — отвечал статский, — вы назначили мне быть у вас в восемь часов (тут он вынул часы); до восьми остается еще чет-

верть часа. Мы имеем время выбрать оружие и назначить место...» Все это было сказано тихим, спокойным голосом, как будто дело шло о назначении приятельской пирушки. [Денисевич] мой покраснел как рак и, запутываясь в словах, отвечал: «Я не затем звал вас к себе... я хотел вам сказать, что молодому человеку, как вы, нехорошо кричать в театре, мешать своим соседям слушать пиесу, что это неприлично...» — «Вы эти наставления читали мне вчера при многих слушателях, — сказал более энергическим голосом статский, — я уж не школьник, и пришел переговорить с вами иначе. Для этого не нужно много слов: вот мои два секунданта; этот господин военный (тут указал он на меня), он не откажется, конечно, быть вашим свидетелем. Если вам угодно...» [Денисевич] не дал ему договорить. «Я не могу с вами драться, — сказал он, — вы, молодой человек, неизвестный, а я штаб-офицер...» При этом оба офицера засмеялись; я побледнел и затрясся от негодования, видя глупое и униженное положение, в которое поставил себя мой товарищ, хотя вся эта сцена была для меня загадкой. Статский продолжал

твердым голосом: «Я русский дворянин, Пушкин: это засвидетельствуют мои спутники, и потому вам не стыдно иметь будет со мной дело».

При имени Пушкина блеснула в голове моей мысль, что передо мною стоит молодой поэт, таланту которого уж сам Жуковский поклонялся, корифей всей образованной молодежи Петербурга, и я спешил спросить его: «Не Александра ли Сергеевича имею честь видеть перед собою?»

— Меня так зовут, — сказал он, улыбаясь.

«Пушкину, — подумал я, — Пушкину, автору „Руслана и Людмилы“, автору стольких прекрасных мелких стихотворений, которые мы так восторженно затвердили, будущей надежде России, погибнуть от руки какого-нибудь [Денисевича]; или убить какого-нибудь [Денисевича] и жестоко пострадать... нет, этому не быть! Во что б ни стало, устрою мировую, хотя б и пришлось немного покривить душой».

— В таком случае, — сказал я по-французски, чтобы не понял нашего разговора [Денисевич], который не знал этого языка, — поз-

вольте мне принять живое участие в вашем деле с этим господином и потому прошу вас объяснить мне причину вашей ссоры.

Тут один из ассистентов рассказал мне, что Пушкин накануне был в театре, где, на беду, судьба посадила его рядом с [Денисевичем]. Играли пустую пиесу, играли, может быть, и дурно. Пушкин зевал, шикал, говорил громко: «Несносно!» Соседу его пиеса, по-видимому, очень нравилась. Сначала он молчал, потом, выведенный из терпения, сказал Пушкину, что он мешает ему слушать пиесу. Пушкин искоса взглянул на него и принялся шуметь по-прежнему. Тут [Денисевич] объявил своему неутомонному соседу, что попросит полицию вывести его из театра.

— Посмотрим, — отвечал хладнокровно Пушкин и продолжал повесничать.

Спектакль кончился, зрители начали расходиться. Тем и должна была бы кончиться ссора наших противников. Но мой витязь не терял из виду своего незначительного соседа и остановил его в коридоре.

— Молодой человек, — сказал он, обращаясь к Пушкину, и вместе с этим поднял свой

указательный палец, — вы мешали мне слушать пиесу... это неприлично, это невежливо.

— Да, я не старик, — отвечал Пушкин, — но, господин штаб-офицер, еще невежливее здесь и с таким жестом говорить мне это. Где вы живете?

Денисевич сказал свой адрес и назначил приехать к нему в восемь часов утра. Не были это настоящий вызов?..

— Буду, — отвечал Пушкин. Офицеры разных полков, услышав эти переговоры, обступили было противников; сделался шум в коридоре, но, по слову Пушкина, все затихло, и спорившие разошлись без дальнейших приключений.

Вы видите, что ассистент Пушкина не скрыл и его вины, объяснив мне вину его противника. Вот этот-то узел предстояло мне развязать, сберегая между тем голову и честь Пушкина.

— Позвольте переговорить с этим господином в другой комнате, — сказал я военным посетителям. Они кивнули мне в знак согласия. Когда я остался вдвоем с Денисевичем, я спросил его, так ли было дело в театре, как

рассказал мне один из офицеров. Он отвечал, что дело было так. Тогда я начал доказывать ему всю необдуманность его поступков; представил ему, что он сам был кругом виноват, затеяв вновь ссору с молодым, неизвестным ему человеком, при выходе из театра, когда эта ссора кончилась ничем; говорил ему, как дерзка была его угроза пальцем и глупы его наставления, и что, сделав формальный вызов, чего он, конечно, не понял, надо было или драться, или извиниться. Я прибавил, что Пушкин сын знатного человека (что он известный поэт, этому господину было бы нипочем). Все убеждения мои сопровождал я описанием ужасных последствий этой истории, если она разом не будет порешена. «В противном случае, — сказал я, — иду сейчас к генералу нашему, тогда... ты знаешь его: он шутить не любит». Признаюсь, я потратил ораторского порошу довольно, и недаром. Денисевич убедился, что он виноват, и согласился просить извинения. Тут, не дав опомниться майору, я ввел его в комнату, где дожидались нас Пушкин и его ассистенты, и сказал ему: «Господин [Денисевич] считает себя виноват-

тым перед вами, Александр Сергеевич, и в опрометчивом движении, и в необдуманном слове при выходе из театра; он не имел намерения ими оскорбить вас».

— Надеюсь, это подтвердит сам господин [Денисевич], — сказал Пушкин. Денисевич извинился... и протянул было Пушкину руку, но тот не подал ему своей, сказав только: «Извиняю», — и удалился с своими спутниками, которые очень любезно простились со мною.

Скажу откровенно, подвиг мой испортил мне много крови в этот день — по каким причинам, вы угадаете сами. Но теперь, когда прошло тому тридцать шесть лет, я доволен, я счастлив, что на долю мою пришлось совершить его. Если б я не был такой жаркий поклонник поэта, уже и тогда предрекавшего свое будущее величие; если б на месте моем был другой, не столь мягкосердый служитель муз, а черствый, браннолюбивый воин, который, вместо того чтобы потушить пламя раздора, старался бы еще более раздуть его; если б я повел дело иначе, перешел только через двор к одному лицу, может быть, Пушкина не стало б еще в конце 1819 года и мы не имели

бы тех великих произведений, которыми он подарил нас впоследствии. Да, я доволен своим делом, хорошо или дурно оно было исполнено. И я ныне могу сказать, как старый капрал Беранже:

Puis, moi, j'ai servi le grand homme!

Обязан прибавить, что до смерти Пушкина и [Денисевича] я ни разу не проронил слова об этом происшествии. Были маленькие неприятности у Денисевича в театрах с военными, вероятно, последствия этой истории, но они скоро кончились тем, что мой майор (начинавший было угрожать заочно Пушкину какими-то не очень рыцарскими угрозами), по моему убеждению, весьма сильному, ускочил скоро из Петербурга.

Через несколько дней увидал я Пушкина в театре: он первый подал мне руку, улыбаясь. Тут я поздравил его с успехом «Руслана и Людмилы», на что он отвечал мне: «О! это первые грехи моей молодости!»

— Сделайте одолжение, вводите нас чаще такими грехами в искушение, — отвечал я ему.

По выходе в свет моего «Новика» и «Ледя-

ного дома», когда Пушкин был в апогее своей славы, спешил я послать к нему оба романа [13], в знак моего уважения к его высокому таланту. Приятель мой, которому я поручал передать ему «Новика», писал ко мне по этому случаю 19 сентября 1832 года: «Благодарю вас за случай, который вы мне доставили, увидеть Пушкина. Он оставил самые приятные следы в моей памяти. С любопытством смотрел я на эту небольшую, худенькую фигуру и не верил, как он мог быть забиякой... На лице Пушкина написано, что у него тайного ничего нет. Разговаривая с ним, замечаешь, что у него есть тайна — его прелестный ум и знания. Ни блесок, ни жеманства в этом князе русских поэтов. Поговоря с ним, только скажешь: „Он умный человек. Такая скромность ему прилична“». Совестно мне повторить слова, которыми подарил меня Пушкин при этом случае; но, перечитывая их ныне, горжусь ими. Отчего ж не погордиться похвалою Пушкина?..

Узнав, что он занимается историей Пугачевского бунта, я препроводил к нему редкий экземпляр Рычкова[14]. Вследствие этих по-

сылку я получил от него письмо, которое здесь помещаю. Все лестное, сказанное мне в этом послании, принимаю за радушное приветствие; но мне всего приятнее, что великий писатель почтил мое произведение своею критикой, а ею он не всякого удостоивал, как замечено было недавно и в одной из биографий его. Вот это письмо, которое храню, как драгоценность, вместе со списком моего ответа:

«Милостивый государь, Иван Иванович!

Во-первых, должен просить у вас прощение за медленность⁽⁴⁾ и неисправность свою. Портрет Пугачева получил месяц тому назад и, возвратясь из деревни, узнал я, что до сих пор экземпляр его истории вам не доставлен. Возвращаю вам рукопись Рычкова, коей пользовался я по вашей благосклонности.

Позвольте, милостивый государь, благодарить вас теперь за прекрасные романы, которые все мы прочли с такой жадностью и с таким наслаждением. Может быть, в художественном отношении, „Ледяной дом“ и выше „Последнего Новика“, но истина историческая в нем не соблюдена, и это со временем, когда

дело Волынского будет обнародовано, конечно, повредит вашему созданию; но поэзия останется всегда поэзией, и многие страницы вашего романа будут жить, доколе не забудется русский язык. За Василия Тредьяковского, признаюсь, я готов с вами поспорить. Вы оскорбляете человека, достойного во многих отношениях уважения и благодарности нашей. В деле же Волынского играет он лицо мученика. Его донесение Академии трогательно чрезвычайно. Нельзя его читать без негодования на его мучителя. О Бироне можно бы также потолковать. Он имел несчастье быть немцем; на него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени и в нравах народа. Впрочем, он имел великий ум и великие таланты.

Позвольте сделать вам филологический вопрос, коего разрешение для меня важно⁽⁵⁾. В каком смысле упомянули вы слово хобот в последнем вашем творении и по какому наречию?

Препоручая себя вашей благосклонности, честь имею быть с глубочайшим почтением,
Милостивый государь,

Вашим покорнейшим слугою

Александр Пушкин».

3-го ноября 1835 г.

С.-Петербург.

Ответ мой был на трех листах почтовой бумаги. Он не может быть напечатан по многим причинам. Во-первых, я крепко защищал в нем историческую истину, которую оспаривает Пушкин. Прежде чем писать мои романы, я долго изучал эпоху и людей того времени, особенно главные исторические лица, которые изображал. Например, чего не перечитал я для своего «Новика»!⁽⁶⁾ Могу прибавить, я был столько счастлив, что мне попадались под руку весьма редкие источники. Самую местность, нравы и обычаи страны списывал я во время моего двухмесячного путешествия, которое сделал, проехав Лифляндию вдоль и поперек, большею частью по проселочным дорогам. Так же добросовестно изучил я главные лица моего «Ледяного дома» на исторических данных и достоверных преданиях.

В ответе моем я горячо вступился за память моего героя, кабинет-министра Волынского, который, быв губернатором в Астраха-

ни, оживил тамошний край, по назначению Петра Великого ездил послом в Персию и исполнил свои обязанности, как желал царственный гений; в Немирове вел с турками переговоры, полезные для России, и пр. и пр. На Волынского сильные враги свалили преступления, о которых он и не помышлял и в которых не имел средств оправдать себя. Пушкин указывает на дело, вероятно, следственное. Беспристрастная история спросит, кем, при каких обстоятельствах и отношениях оно было составлено, кто были следователи? На него подавал жалобу Тредьяковский — и кого не заставляли подавать на него жалобы! доносили и крепостные люди его, белые и арапчонки, купленные или страхом наказания или денежною наградой. Впоследствии один сильный авторитет, перед которым должны умолкнуть все другие, читавший дело, на которое указывает Пушкин, авторитет, умевший различать истину от клеветы, оправдал память умного и благородного кабинет-министра[16]. В моем романе я представил его, каким он был благородным патриотом и таким, каким были люди того време-

ни, даже в высшем кругу общества, волоки-той, гулякой, буйным, самоуправным.

Что касается до защиты Пушкиным Тредьяковского, источник ее, конечно, проистекал из благородного чувства; но, смею сказать, взгляд его на тогдашнюю эпоху был односторонен... Признаюсь, когда я писал «Ледяной дом», я еще не знал умилительного донесения Василия Кириловича Академии о причиненных ему бесчестии и увечьи[17]. Поистине Волынский поступил с ним жестоко, пожалуй, бесчеловечно, — прибавить надо, если все то правда, что в донесении написано. Но этот поступок мелочь перед теми делами, которые тогда так широко и ужасно разыгрывались... Что ж делать? И я крайне скорблю о несчастьи бедного стихотворца, еще более члена Академии де-сиянс, которому, может быть, мы обязаны некоторою благодарностию; но от уважения к его личности да избавит меня бог! И я негодую на бесчеловечный поступок Волынского, но все-таки уважаю его за полезные заслуги отечеству и возвышенные чувства в борьбе с могучим временщиком... Увы! сожалениям и негодованиям не

будет конца, если к самоуправству над Тредьяковским кабинет-министра присоединить все оскорбления, которые сыпались на голову Василия Кириловича. Грубые нравы того времени, на которые указывает сам Пушкин, — хотя в других отношениях и несправедливо, — и, прибавить надо, унижительная личность стихокропателя поставили его в такое мученическое положение. Если тогда обращались так дурно с людьми учеными, образованными в Париже, писавшими даже французские стишки; если в то время — вспомните, что это было с лишком за сто лет — князья не считали для себя унижительною должность официального шута, негодуйте, сколько угодно, на людей, поступавших так жестоко и так унижавших человечество; но вместе с тем вините и время⁽⁷⁾. Негодуйте, если хотите, и на самого писателя, что он был человек, как и вся раболепная толпа, его окружавшая, человек малодушный, не возвысившийся над нею ни на один вершок. Но — на нет и суда нет! Зачем же делать его благородным, возвышенным мучеником? Да и чьим, скажу опять, мучеником он не был?.. Неохотно должен

здесь привести рассказ о том, как унижали бедного Тредьяковского и другие, кроме Во-лынского. Привожу здесь этот рассказ, потому что от меня требуют доказательств... Вот слова Ив.Вас.Ступишина (лица, весьма значительного в свое время и весьма замечательного), умершего девяностолетним старцем, если не ошибаюсь, в 1820 году: «Когда Тредьяковский являлся с своими одами... то он всегда, по приказанию Бирона, полз на коленях из самых сеней через все комнаты, держа обеими руками свои стихи на голове; таким образом доползая до тех лиц, перед которыми должен был читать свои произведения, делал им земные поклоны. Бирон всегда дурачил его и надседался со смеху». Несмотря на увещья, от которых Тредьяковский ожидал себе кончины и которые просил освидетельствовать, отказался ли он писать дурацкие стихи на дурацкую свадьбу? Нет, он все-таки написал их и даже прочел, встав с одра смерти.

Свищи, весна, свищи, красна!

воскликает он в жару пиитического восторга и наконец повершает свое сказание та-

кими достопамятными виршами:

*Здравствуйте ж, женившись, ду-
рак и дурка,
Еще... то-то и фигурка!*

Посмотрите, как Тредьяковский жалуется. «Размышляя, — говорит он в рапорте Академии, — о моем напрасном бесчестии и увечье (за дело ничего бы?), раздумал поутру, избрав время, пасть в ноги к его высокогерцогской светлости и пожаловаться на его превосходительство. С сим намерением пришел я в покои к его высокогерцогской светлости поутру и ожидал времени припасть к его ногам...» И в доношении графу Разумовскому тоже: «слезно припадает к ногам его».

Если Пушкин приписывает духу времени и нравам народа то, в чем они совсем не повинны, что никогда не могло быть для них потребностью, почему ж не сложить ему было на дух и нравы того времени жестокого поступка Волынского с кропателем стихов, который сделался общим посмеянием? Разве это жестокое обращение, однажды совершенное, тяжелей (не говорю больней) того униже-

ния, в котором влачил его беспрестанно другой мучитель его? Разве потому легче это унижение, что оно подслащалось некоторыми эмульсиями покровителя? К тому же, если винить одного, зачем оправдывать другого, на тех же данных, в делах, более вопиющих?..

Вопрос другой: должен ли я был поместить Тредьяковского в своем историческом романе? Должен был. Мое дело было нарисовать верно картину эпохи, которую я взялся изобразить. Тредьяковский драгоценная принадлежность ее: без Тредьяковского картина была бы неполна, в группе фигур ее недоставало бы одного необходимого лица. Он нужен был для нее, как нужны были шут Кульковский, барская барыня, родины козы, дурацкая свадьба и пр. А если я должен был поместить, то следовало его изобразить, каким он был. Мы привыкли верить, что черное черно, в жизни ли оно человека или в его сочинениях, и не ухищрялись никогда делать его белым, несмотря ни на предков, ни на потомков. Мы привыкли смеяться над топорными переводами и стишками собственной работы Василия Кириловича, как смеялись над ними совре-

менники; нам с малолетства затвердили, что при дворе мудрой государыни давали их читать в наказание. Говорили мы спасибо Василию Кириловичу за то, что он учил современников слагать стихи и ввел гексаметр в русскую просодию. Но и это доброе дело можно было легче сделать, не терзая нас тысячами стихов «Телемахиды»[19], счетом которых он так гордился, не играя с нами в пиитические жмурки на острове Любви и не работая тридцать лет над переводом Барклаевой «Аргениды»[20]. Но и на добро наложена была, видно, тяжелая рука знаменитого труженика: гексаметр не пришелся по духу и крови русской, несмотря на великие подвиги, совершенные в нем Гнедичем и Жуковским[21]. По крайней мере, это мое убеждение.

Упрекали меня, что я заставил говорить педанта в своем романе как педанта. В разговоре-де Василий Кирилович был не таков, как в своих сочинениях, — сказал некогда один критик[22], впрочем, лицо, достойно уважаемое за его ум и ученость, несмотря на парадоксы, которыми оно любит потешаться. Да кто ж, спрашиваю, слышал его разговоры?

Кто потрудился подбирать эти жемчужины, которые мимоходом, по пути своему, сыпал этот великий человек, и сохранить их для потомства? Дайте нам их во всеведение!.. Ба, ба, ба! а донесение Академии? Перед ним-то вы, конечно, должны преклониться и умилиться. Извините, я и в донесении Академии не вижу ничего, кроме рабской жалобы на причиненные побои. Помилуйте, так ли пишут люди оскорбленные, но благородные, не уронившие своего человеческого достоинства?.. Положим еще, что и у Василия Кирилловича была счастливая обмолвка двумя стихами и несколькими строчками в прозе: дают ли они диплом на талант, на уважение потомства? И дураку удается иногда в жизни своей умненькое словечко. Так и Василию Кирилловичу если и удалось раз написать простенько, не надуваясь, языком, каким говорили современники, неужели все бесчисленные памятники его педантизма и бездарности должны уступить единственному клочку бумаги, по-человечески написанному?

Я распространился о Тредьяковском, потому что с появления «Ледяного дома» он сде-

лался коньком, на котором поскакали кста-ти и некстати наши рецензенты. Поломано немало копий для восстановления памяти его. Даже в одной журнальной статье, написанной в конце великого 1855 года, поставлен этот подвиг едва ли не в самую важную заслу-гу нашей современной критике. Как будто де-ло шло о восстановлении обиженной памяти, положим, Державина или Карамзина!.. Эта критика махнула еще далее. Нарочно для Ва-силия Кириловича изобрели новых историче-ских писателей, в сонм которых его тотчас и поместили. Наконец, в утешение тени вели-кого труженика, добавили, что через сто лет, именно в 1955 году, язык Гоголя будет не луч-ше того, каким для нас теперь язык Тредья-ковского!.. Изобретатель этой чудной гипоте-зы подумал ли, что бесталанный Тредьяков-ский писал на помеси какого-то языка, ребя-ческого, пожалуй, ученического, а Гоголь, вы-соко даровитый писатель, — на языке, уже установившемся, в полном своем развитии и даже образовании? Подумал ли, что наш со-временный язык, воспитанный Карамзиным, Жуковским, Батюшковым, Пушкиным, Лер-

МОНТОВЫМ, вступил уже в эпоху своей возмужалости, — имеет душу живую, которая не умирает?..

Продолжайте, господа, ратоборствовать за непризнанного исторического писателя — вам и книги его в руки, хотя бы и в новом, самом роскошном издании!.. А я думаю, что игра не стоит свеч и что пора дать покой костям Василия Кириловича, и вживе не пощаженым. Есть у нас о чем поделнее и поважнее толковать, хотя б и по литературе. В противном случае попрошу полного исторического и эстетического разбора всех сочинений его...

Со всем уважением к памяти Пушкина скажу: оправдание Бирона почитаю непостижимой для меня обмолвкой великого поэта. Несчастье быть немцем?.. Напротив, для всех, кто со времен царя Алексея Михайловича посвящал России свою службу усердно, полезно и благородно, никогда иностранное происхождение не было несчастьем. Могли быть только временные несправедливости против них. В доказательство указываю на Лефорта, на барона, впоследствии графа, Андрея Ивановича Остермана, Миниха, Манштейна,

Брюса и многих других. Поневоле должен высказать здесь довод, не раз высказанный. Отечество наше, занятое столько веков борьбою с дикими или неугомонными соседями, для того чтобы приготовить и упрочить свою будущую великую оседлость в Европе, стоящее на грани Азии, позднее других западных стран озарилось светом наук. И потому иноземцы, пришедшие к нам поучить нас всему полезному для России, поступали ли они в войска, на флот, в академии, в совет царский, всегда были у нас приняты и обласканы, как желанные и почетные гости. Услуги их, если они были соединены с истинным добром для нас, всегда награждались и доброю памятью о них. Что ж заслужил Бирон от народа? Не за то, что он был немец, назвали его время бироновщиною; а народы всегда справедливы в названии эпох. Что касается до великого ума и великих талантов его, мы ждем им доказательств от истории. До сих пор мы их не знаем.

Винюсь, я принял горячо к сердцу обмолвку Пушкина, особенно насчет духа времени и нравов народа, требовавших будто казней и

угнетения, и слова, которые я употребил в возражении на нее, были напитаны горечью. Один из моих приятелей, прочитав мой ответ, сказал, что я не поскупился в нем на резкие выражения, которые можно и должно было написать — только не Пушкину. «Рассердился ли он за них?» — спросил меня мой приятель. «Я сам так думал, не получая от него долго никакого известия», — отвечал я. Но Пушкин был не из тех себялюбивых чад века, которые свое я ставят выше истины. Это была высокая, благородная натура. Он понял, что мое негодование излилось в письме к нему из чистого источника, что оно бежало несдержимо через край души моей, и не только не рассердился за выражения, которыми другой мог бы оскорбиться, — напротив, проезжая через Тверь (помнится, в 1836 году[23]), прислал мне с почтовой станции следующую коротенькую записку. Как увидите, она вызвана одною любезностию его и доброю памятью обо мне.

«Я все еще надеялся, почтенный и любезный Иван Иванович, лично благодарить вас за ваше ко мне благорасположение, за два пись-

ма, за романы и пугачевщину, но неудача меня преследует. Проезжаю через Тверь на перекладных, и в таком виде, что никак не осмеливаюсь к вам явиться и возобновить старое, минутное знакомство. Отлагаю до сентября, то есть до возвратного пути; покамест поручаю себя вашей снисходительности и доброжелательству.

Сердечно вас уважающий
Пушкин».

Записка была без числа и года. Подпись много порадовала меня: она выказывала добрую, благородную натуру Пушкина; она восстанавливала хорошие отношения его ко мне, которые, думал я, наша переписка расстроила.

В последних числах января 1837 года приехал я на несколько дней из Твери в Петербург. 24-го и 25-го был я у Пушкина, чтобы поклониться ему, но оба раза не застал его дома... Нельзя мне было оставаться дольше в Петербурге, и я выехал из него 26-го вечером...

29-го Пушкина не стало...
Потух огонь на алтаре!

Комментарии

1

Я послужил большому человеку.
«Старый капрал» (фр.).

[^^^]

2

Я проезжал Березину спустя немного дней после переправы через нее неприятеля.

[^^^]

Брат мой имел честь находиться при нем на ординарцах во время маршей по Германии и в лейпцигской битве и много порассказал мне о нем. Николай Николаевич никогда не суетился в своих распоряжениях: в самом пылу сражения отдавал приказания спокойно, толково, ясно, как будто был у себя дома; всегда расспрашивал исполнителя, так ли понято его приказание, и если находил, что оно недостаточно понято, повторял его без сердца, называя всегда посылаемого адъютанта или ординарца голубчиком или другими ласковыми именами. Он имел особый дар привязывать к себе подчиненных.

[^^^]

4

Так писал это слово Пушкин.

[^^^]

5

Заметьте, как Пушкин глубоко изучал русский язык: ни одно народное слово, которого он прежде не знал, не ускользало от его наблюдения и исследования.

[^^^]

Все, что сказано мною о Гликке[15], воспитаннице его, Паткуле, даже Бире и Розе, и многих других лицах моего романа, взято мною из Вебера, Манштейна, жизни графа А.Остермана на немецком 1743 года, «Essai critique sur la Livonie par le comte Bray», («Критический очерк о Ливонии графа Брей».) (фр.), Бергмана «Denkmaler aus der Vorzeit», («Памятники прошлого») (нем.), старинных немецких исторических словарей, открытых мною в библиотеке сенатора графа Ф.А.Остермана, драгоценных рукописей канцлера графа И.А.Остермана, которыми я имел случай пользоваться, и, наконец, из устных преданий мариенбургского пастора Рюля и многих других на самых местах, где происходили главные действия моего романа.

[^^^]

Прочтите «Семейную хронику»[18] (Аксакова) — эту живую картину нравов последних годов XVIII столетия — и особенно (что ближе к настоящему предмету моему) стр. 99. Это стоит жестокого обращения с Тредьяковским. А время этого происшествия поближе к нам!

[^^^]

Примечания

Жомини Генрих (1779-1869) — военный историкограф и теоретик, автор многих трудов о походах Наполеона.

[^^^]

Торвальдсен Бертель (1768-1844) — датский скульптор. Упомянутая автором скульптура, изображающая Е.А.Остерман-Толстую, находится в Эрмитаже.

[^^^]

Победоносцев Пётр Васильевич (1771-1843) — русский словесник, писатель, переводчик, профессор Московского университета.

[^^^]

Греч Николай Иванович (1787 — 1867) — русский издатель, редактор, журналист, публицист, беллетрист, филолог, переводчик.

[^^^]

Воейков Александр Федорович (1779-1839) — поэт, переводчик, журналист, состоял профессором русской словесности в Дерптском университете (1814-1820).

[^^^]

Каподистрия Иоанн (1776-1831). — Будучи греческим подданным, занимал должность второго статс-секретаря по иностранным делам России (1815-1822), с 1827 г. — президент Греции.

[^^^]

Михайловский-Данилевский Александр Иванович (1790-1848) генерал-лейтенант, военный историк.

[^^^]

Жихарев Степан Петрович (1788-1860) — драматург, переводчик, мемуарист. Лажечников говорит о его «Записках современника» (Отечественные записки. 1855).

[^^^]

...издавшего в зиму 1819/20 года «Руслана и Людмилу» — неточность, поэма вышла в августе 1820 г.

[^^^]

Денисевич — в тексте это имя заменено NN.
Восстановлено по письму И.Лажечникова
А.Пушкину от 19. 12. 1831 г.

[^^^]

«Бедная Лиза» и «Остров Борнгольм» — повести Н.М.Карамзина.

[^^^]

12

Марциальная осанка — воинственная
(Марс — бог войны).

[^^^]

В личной библиотеке Пушкина хранится подаренный ему Лажечниковым роман «Последний Новик, или Завоевание Лифляндии в царствование Петра Великого» с дарственной надписью; роман «Ледяной дом» не сохранился.

[^^^]

...редкий экземпляр Рычкова — речь идет о рукописном сочинении «Осада Оренбурга» (Летопись Рычкова); опубликована Пушкиным в «Истории Пугачевского бунта» (Ч. I-II. Спб., 1834) с приложенным портретом Пугачева.

[^^^]

...сказано мною о Глике. — В примечании Лажечников перечисляет исторические источники, которыми он пользовался для создания образов романа «Последний Новик» (См. о них: Лажечников И.И. Соч.: В 2 т. Т. 1. М.: Худож. лит., 1963. С. 539).

[^^^]

...один сильный авторитет... оправдал память кабинет-министра. — Лажечников, по-видимому, имеет в виду Екатерину II, которая признавала невиновность Волынского и беззаконие учиненной над ним казни.

[^^^]

...донесения... о причиненных ему бесчестии и увечьи. — В рапорте В.К.Тредьяковского Академии наук от 10 февраля 1740 г. говорится об избиении поэта Волынским (копия этого рапорта, наряду с копией следственного дела Волынского — «Записка об Артемии Волынском», — была найдена в бумагах Пушкина (См: Пушкин в воспоминаниях современников. Т. I. М., 1974. С. 473).

[^^^]

Прочтите «Семейную хронику»... — речь идет об автобиографической книге С.Т.Аксакова «Семейная хроника» (1856).

[^^^]

«Телемахиды» (1766) — «ироическая пиима» В.К.Тредьяковсого, представляющая стихотворное переложение политико-нравоучительного романа французского писателя Ф.Фенелона «Похождения Телемака» (1699).

[^^^]

«Аргенида» (1621) — аллегорический роман английского поэта и сатирика Джона Баркляя (1582-1621).

[^^^]

...великие подвиги, совершенные в нем Гнедичем и Жуковским. — Николай Иванович Гнедич перевел гекзаметром «Илиаду» Гомера (1829), Василий Андреевич Жуковский — «Одиссею» (1849).

[^^^]

...сказал некогда один критик... — Лажечников намекает на рецензию О.И.Сенковского на «Ледяной дом» (Библиотека для чтения. 1835. Т. XII. С. 29-30).

[^^^]

...помнится, в 1836 году... — В Академическом собрании сочинений Пушкина это письмо датируется около 20 августа 1834 г.

[^^^]